

---

# ПУШКИН ПОСЛЕ ССЫЛКИ

(1826—1828)

Н. Л. БРОДСКИЙ

ГЛАВА ИЗ БИОГРАФИИ

Фельдъегерь согласно инструкции привез Пушкина в Кремль в канцелярию дежурного генерала. Тот немедленно известил начальника главного штаба генерала Дибича, который прислал ему распоряжение: «Высочайше повелено, чтобы вы привезли его в Чудов дворец, в мои комнаты к 4 часам пополудни». Во дворце с семьей жил недавно коронованный Николай I. Встречи с царем Пушкин не ожидал. Событие в самом деле было из ряду вон выходящее.

Аудиенция назначалась опальному поэту, шесть лет находившемуся в изгнании, другу казенных и сосланных в Сибирь, имени которых равнодушно не мог слышать новый император.

Покрытый дорожной грязью, не совсем здоровый, иззябший в пути — погода стояла пасмурная — Пушкин вошел в кабинет царя своей обычной быстрой походкой. Николай I увидел перед собой человека невысокого роста, с резкими морщинами на лице, выражавшем угрюмость, с широкими черными бакенбардами, покрывавшими всю нижнюю часть щек и подбородка, с тучей кудрявых волос, с живыми, полными огня глазами. Первой мыслью, когда поэт взглянул на царя, пробежало: не это ли тот белокурый человек, от которого зависит его судьба? Когда-то еще до ссылки ему предсказала гадалка в Петербурге, что он умрет или от белой лошади или от белокурого человека — из-за жены. Пушкин верил в разные приметы, этой чертой наделял своих героев, однажды печатно признавшись: «Читатель, вероятно, знает по опыту, как вредно человеку предаваться суеверию, несмотря на всевозможное презрение к пред-рассудкам».

Беседа царя и поэта продолжалась более часу. В кабинете было холодно. Пушкин, стоя спиной к камину, отогревал свои ноги. «Здравствуй, Пушкин, доволен ли ты своим возвращением?» — спросил Николай. Просто и искренне прозвучавший ответ сразу показал царю, что с этим человеком бесполезно вести игру, к которой он прибегал недавно при допросах. Его наметавшийся глаз в дальнейшей беседе быстро распознал, что перед ним стоял человек исключительного ума, исключительной одаренности. В тот же вечер на балу у французского маршала Мармона царь сказал Д. Н. Блудову, что он сегодня разговаривал с умнейшим человеком в России. Это впечатление поэт по возвращении из ссылки производил на людей разного калибра. Цензор И. М. Снегирев, когда увидел Пушкина, привезшего ему на рассмотрение II главу «Онегина», записал в дневнике 24 сентября 1826 года: «Талант его виден и в глазах его: умен и остр, благороден и в изъяснении скромнее прежнего. Опыт не шутка»... Один из образованнейших людей своего времени, И. В. Киреевский писал о нем 29 января 1829 года: «В Пушкине я нашел еще больше, чем ожидал. Такого мозгу, кажется, не вмещает уже ни один русский череп, по крайней мере из ощупанных мною». Пушкину не стоило труда убедить царя — на вопрос, он ли писал стихотворение «На 14 декабря», — что это отрывок из стихотворения, написанного за несколько месяцев до восстания, отрывок, правда, цензурою запрещенный, но имевший отношение к далеким событиям в исторической жизни другого народа. По словам осведомленного Ф. Вигеля, «умная, откровенная, почтительно-смелая речь поэта полюбилась государю». Направить перо такого человека в интересах своей политики — подобное желание невольно возникало у царя, как оно было и у его ближайшего помощника, шефа жандармов, который 12 июля 1827 года писал ему: «Если удастся направить перо и речи (Пушкина), то это будет выгодно». Николай I сказал Пушкину: «Ты меня ненавидишь за то, что я раздавил ту партию, к которой ты принадлежал, но верь мне, я также люблю Россию, я не враг русскому народу, я ему желаю свободы, но ему нужно сперва укрепиться». Это было повторение роли царя-реформатора, которая удалась Николаю в разговоре с арестованным Каховским. Только тогда, видя перед собой энтузиаста, царь говорил приблизительно те же слова со слезой на глазах; тогда он вырвал у «русского Брута» взволнованное признание: «Слава богу, вы не презираете именем русского. Я заметил, как сказали вы: «Кто может сказать, что я не русский». Так, государь, вы русский, любите народ свой; а народ будет боготворить в вас отца своего... Счастлив подданный, слышавший от своего монарха: «я сам есть первый гражданин

отечества». Николай рассчитывал, что проявленные им по адресу Пушкина «милосердие» и «великодушие» произведут на него такое же действие, как на Каховского его искусно сделанная маска. Царь не ошибся. Когда на вопрос: «Что бы ты сделал, если б 14 декабря был в Петербурге?» — поэт, не запинаясь, отвечал: «Был бы в рядах мятежников», и когда после такого ответа, мужественную героиню которого можно оценить в полной мере, только помня верно-подданническую свистопляску большинства дворянской массы после 14 декабря, царь, услышав, что цензура мешает поэту работать, сказал ему: «Ну так я сам буду твоим цензором, присылай мне все, что напишешь», — с точки зрения Пушкина произошло нечто до того неожиданное, что он должен был поддаться любезной речи царя: вместо наказания он получал свободу, еще так недавно он слышал от друзей совет держать язык на привязи — и вдруг освобождение от «цензуры-дуры». Пушкин, чуя недоброе в вызове в Москву, дорогой обдумывал антиправительственное стихотворение, которое он собирался в случае неблагоприятного исхода поездки представить кому следует на прощанье. По преданию, достаточно достоверному, оно кончалось стихами:

Восстань, восстань, пророк России,  
Позорной ризой облекись  
И с вервием вокруг выи  
К у. г.<sup>1</sup> явись.

Слова царя обещали возможность работы без тяжелого пресса «чугунного» цензурного устава, недавно сочиненного адмиралом Шишковым и по утверждению (10 июня 1826 г.) вызвавшего всеобщее возмущение в писательской среде. Самое неожиданное в том, что он получал прощение, заключалось в следующем. Если бы он ответил Верховному уголовному суду так, как Николаю, он подлежал бы тягчайшему наказанию. К нему вообще можно было применить обвинение в разных видах преступлений, которые были найдены по делу участников дворянской революции 1825—1826 годов.

Когда царь задал Пушкину вопрос, переменился ли его образ мыслей и дает ли он слово думать и действовать иначе, если получит свободу, поэт долго колебался прямым ответом и только после продолжительного молчания протянул царю руку.

Манифест Николая от 13 июля 1826 года дал Пушкину возможность еще в Михайловском продумать лишний раз вопрос о государственной власти, об ее функциях. Ученик Монтескье, он всегда стоял на позиции государственности,

---

<sup>1</sup> По предположению М. А. Цявловского, последний стих можно читать: «К убийце гнусному явись».

зная, что государственная власть может стать добром и злом. Привыкший мыслить исторически, он в «Анналах» Тацита, прочитанных в ссылке, нашел аргументы «бича тиранов» (как он называл римского историка), что римская империя не возникла как узурпация власти, а была исторически закономерным явлением, обусловленным соотношением общественных сил. Теория исторического прогресса, которую, несмотря на всевозможные удары реакции, разделяли передовые умы Европы и которая в годы победы роялистов укрепляла веру м-ше Сталь в конечном торжестве принципа свободы («Неужели же возможно править так, как правили триста лет назад? Неужели возможен новый Иисус Навин, который будет останавливать течение солнца?»<sup>1</sup>), — эта теория, художественным выражением которой были последние стихи «Вакхической песни» (1825), приводила Пушкина к убеждению, что признание победы самодержавия не есть капитуляция перед победителем-самодержцем, но признание необходимости, подлежащей изменениям в процессе исторического движения. Всегда различая монархию и деспотию, Пушкин в словах манифеста услышал призыв царя к обществу о содействии в преобразовании народной жизни. Вся фразеология манифеста, составленного М. М. Сперанским, напоминала поэту лекции Куницына, беседы в обществе Н. И. Тургенева, — тот круг вопросов, над которыми он неоднократно размышлял, читая просветителей XVIII века, читая брошюры и книги французских конституционалистов эпохи реставрации. К моменту разговора с царем, пережив катастрофу 14 декабря, он уже сам расстался с «дерзостными мечтаниями, всегда разрушительными», еще с конца 1823 года перестав верить в положительное значение военной революции — «революции на манер гишпанской» и 10 августа (1826 г.) констатировав в VI главе романа свое новое, «ясное», с трезвым учетом свершившихся фактов, отношение к политической действительности:

Другие, хладные мечты

Тревожат сон моей души...

Слова о том, что «свыше усовершаются постепенно отечественные установления», возвращали Пушкина к его доссыльной политической идеологии: автор «Деревни» (1819) признавал за государственной властью, за монархией реформаторскую миссию, подобно тому как автор популярного среди вольномысливших дворян «Опыта о теории налогов»

<sup>1</sup> Пушкин ссылался на книгу Сталь („Взгляд на французскую революцию“) в заметке 9 июня 1825 г.

(1818), Н. И. Тургенев, в предисловии к своему труду писал: «Постепенные и мирные происшествия имеют действие более благодетельное, нежели сильные, мгновенные перевороты». Пушкин медлил протянуть руку Николаю, потому что видел в нем «гноусного убийцу», но факты дарования ему свободы, забвения его прошлого, призыв помочь ему — царь предлагал ему сообщить его соображения о народном воспитании — рождали мысль о возможности воздействовать на государственную власть в духе той идеологии, которая была близка поэту и декабристам, убежденным в том, что «Народная свобода — неминуемое следствие просвещения». Между царем и поэтом был заключен договор: взамен свободы, которую давал царь, поэт подтверждал честным словом, что он не будет «своими мнениями противоречить общепринятому порядку». Поэт поверил в иллюзию дарованной ему царем свободы; царь, упоенный своим могуществом, был уверен, что он подчинил себе, покори́л поэта: «Ну, теперь ты не прежний Пушкин, а мой Пушкин». Вскоре поэт убедится, что царь первый нарушил договор; вскоре царь убедится, что поэт не выдержал экзамена по курсу политической благонамеренности, и согласится с Бенкендорфом, что Пушкин порядочный шелопа́й (*un bien mauvais garnement*).

...Начальник канцелярии III Отделения фон-Фок 17 сентября в своих бюллетенях отметил личное отношение к приему Пушкина у царя и столичные толки об этом происшествии: «Пушкин, сочинитель, был вытребован в Москву... Этот господин известен всем за мудрствователя, в полном смысле этого слова, который проповедует последовательный эгоизм с презрением к людям, ненависть к чувствам, как и к добродетелям, наконец, деятельное стремление к тому, чтобы доставлять себе житейские наслаждения ценою всего самого священного. Это честолюбец, пожираемый жаждою вожделений, и, как примечают, имеет столь скверную голову, что его необходимо будет проучить при первом удобном случае. Говорят, что государь сделал ему благосклонный прием и что он не оправдает тех милостей, которые его величество оказал ему».

Из Кремля поэт поехал в гостиницу «Европа» на Тверской, оставил там вещи и двинулся разыскивать своего дядю В. Л. Пушкина. Тот жил на Старой Басманной в доме Кетчера (теперь Марксова ул., 36).

Вечером, на той же улице, в доме Вревских и Сердобиных у французского посла происходил бал. Николай I сам рассказал Д. Н. Блудову о приезде Пушкина. Весть об этом быстро распространилась по залам. С. А. Соболевский, с которым поэт был знаком еще до ссылки (ему в 1818 году он поручил принимать подписку в пансионе, где тот обучался

вместе с братом поэта, на предполагавшееся к печати собрание стихотворений), немедленно прямо с бала поехал к Василию Львовичу, где и застал за ужином освобожденного поэта. Пушкин тотчас поручил Соболевскому на другой же день утром съездить к графу Ф. И. Толстому, тому самому, который шесть лет назад распространил клевету, будто поэта высекли в Тайной канцелярии, съездить к нему и передать вызов на дуэль. Ф. И. Толстого не оказалось в Москве, противники потом помирились, дуэль не состоялась.

Через Соболевского Пушкин завязал отношения с московским обществом, где у него из близких знакомых, кроме родственников, были лишь князь П. А. Вяземский да П. Я. Чаадаев, приехавший в Москву одновременно с поэтом. Заслуживает внимания, что при обыске у возвращавшегося из-за границы Чаадаева, задержанного в Бресте по распоряжению вел. кн. Константина Павловича, найдены были «Стихи» под названием «Смерть» и другие, относящиеся к Занту. При допросе (26 августа 1826 г.) отставного ротмистра, заподозренного в том, что он в Карлсбаде жил «душа в душу с Николаем Тургеневым», на вопрос, кто сочинил эти стихи, Чаадаев ответил, что как это стихотворение, так и прочие отрывки стихов, находившиеся в его бумагах, «сочинены известным стихотворцем Пушкиным», что «онные стихи никогда не были напечатаны, но были известны в России и находились во всех руках», что получил он их за границей от офицера кн. Щербатова. Когда брат царя доставил ему выписку из всех найденных при Чаадаеве бумаг, Николай I еще раз убедился в необычайной популярности революционных произведений поэта («Кинжал»), которые распространялись среди русских и за границей.

П. А. Вяземского Пушкин не нашел дома, тот приехал в Москву к концу коронационных торжеств; но когда при новом посещении его семьи жена Вяземского сказала поэту, что ее муж уехал в баню, Пушкин немедленно отправился туда: в номерных банях произошла первая встреча давно не видавшихся друзей. Не трудно представить себе, о чем шла беседа между ними. Кстати, для разговоров по душам Пушкин нередко избирал и впоследствии то же место, что в сентябре 1826 года с Вяземским: он также уединялся в баню для разговоров о самом важном, интимном с своим старинным приятелем К. В. Нащокиным. П. А. Вяземский, о котором царь говорил: «Отсутствие его имени в деле (декабристов) доказывает только то, что он был умнее и осторожнее других», был принципиальным противником самой идеи тайных обществ, но после расправы с участниками

14 декабря он испытывал чувство глубокого возмущения против жестокого и несправедливого приговора Верховного суда. После казни тон его писем стал чрезвычайно резким, хотя он знал, что они вскрывались на почте. 17 июля 1826 года он писал жене: «При малейшей возможности тотчас вырвался бы я из России надолго... Для меня Россия теперь опоганена, окровавлена: мне в ней душно, нестерпимо... Я не могу, не хочу жить спокойно, на лобном месте, на сцене казни! Сколько жертв и какая железная рука пала на них. Ни об чем говорить не хочется, в душе одно чувство, в уме одна мысль; оставлю их с тем, чтобы это кровавое чувство, эта кровавая мысль запеклись бы про меня одного». Эти настроения не покидали Вяземского в ближайшие месяцы после приговора. Пушкин мог услышать от него, помимо аргументации в защиту утверждения, что «казни и наказания несоизмеримы преступлениям, из коих большая часть состояла в одном умысле», еще ряд его общих соображений о декабристском восстании: Вяземский не считал 14 декабря революцией («прапорщики не делают Революции, а разве производят частный бунт. Не подобными людьми совершается революция не только в чуже, но и дома»), однако оправдывал выступление декабристов, соглашаясь с Пушиным: «Несчастный Пущин в словах письма своего: «нас по справедливости назвали бы подлецами, если б мы пропустили нынешний единственный случай!» — дает знать прямодушно, что, по его мнению, мера долготерпения ...переполнена и что нельзя было не воспользоваться пробившим часом»; от Вяземского он мог услышать подробности о казни, о предсмертном письме Рылеева к жене, вообще многое из того, что интересовало поэта и было ему неизвестно. Монархист Вяземский на возможный вопрос Пушкина, почему он задержался в деревне, ответил бы ему так же, как писал жене 3 августа: «Это материалы для моего биографа: был москвич и не хотел возвратиться в Москву на коронацию... Я норовил... к шапочному разбору, а не пробору Мономаховой шапки». В сентябре — октябре 1826 года Вяземский, безусловно, содействовал Пушкину в уяснении новой политической обстановки, оценки новых людей на государственных постах; так же, как А. И. Тургенева, он пытался Пушкина «предостеречь, вывести на свежий воздух из атмосферы околдованной», слагавшейся в столичной среде около Николая I, о котором он отзывался: «что ни говори, а я от него всего страшусь и ничего не надеюсь, потому что чудесам не верю».

10 сентября у Соболевского (на Собачьей площадке в д. Ринкевича) Пушкин читал свою трагедию. Это чтение «Бориса Годунова» происходило в интимном кружке: при-

существовали Чаадаев, дальний родственник Пушкина — поэт Д. Б. Веневитинов, композитор-дилетант граф М. Ю. Виельгорский, положивший на музыку «Черную шаль», «Песнь Земфиры», собиравшийся написать оперу «Цыгане», и литератор И. В. Киреевский, известный Пушкину по полемике с Н. А. Полевым по поводу первой главы «Евгения Онегина». О впечатлении на слушателей можно судить по рассказу Веневитинова об этом вечере на другой день молодому историку, беллетристу и критику М. П. Погодину: «Борис Годунов» — чудо». Собравшиеся на чтение услышали от Пушкина, что у него в проекте пьеса о Самозванце, «Моцарт и Сальери», что у него еще написаны: «Граф Нулин», продолжение «Фауста», главы «Онегина» и проч. Шла речь о любимом плане Пушкина: «Станем издавать журнал», — сказал он, и когда Веневитинов сообщил, что на эту тему уже велись разговоры в его литературном кружке и что даже подходящий редактор имеется в лице Погодина, Пушкин попросил познакомить его со всеми, с кем бы можно было говорить об издании нового органа: «Надо отнять глупости от Полевого и Булгарина и проч.». У Пушкина созрел план журнала, который бы отличался как от «Сына отечества» Греча и Булгарина, беспринципно (особенно в газете «Северная пчела») потакавших маловзыскательным вкусам обывательской массы, так и от двухнедельного «Московского телеграфа».

Широкие круги московского общества увидели Пушкина впервые по возвращении его из ссылки в Новом Большом театре 12 сентября на представлении комедии А. М. Шаховского «Аристофан».

«Театр наполняли придворные, военные, гражданские чиновники, иностранные дипломаты, словом — все высшее блестящее общество Петербурга и Москвы. Когда Пушкин вошел в театр, мгновенно пронесся по всему театру говор, повторявший это имя: все взоры, все внимание обратилось на него. У разъезда толпились около него и издали указывали его по бывшей на нем светлой пуховой шляпе», — рассказывал очевидец этого триумфа поэта. Так же встречала Пушкина и другая Москва, более пестрая, чем избранное театральное общество, Москва демократическая, шумной массой двигавшаяся на народном гуляньи под Новинским. По словам очевидца, «толпы народа ходили за славным певцом Эльборуса и Бахчисарая, при восхищениях с разных сторон: «укажите, укажите нам его». Поэтесса графиня Е. П. Ростопчина отметила это появление Пушкина на гуляньи стихотворением.

Имя Пушкина уже было манящим для тогдашнего демократического писателя. Начинали уже выходить на историческую сцену деятели литературы, науки, искусства не из

дворянских гнезд; крепостное крестьянство, разночинцы, купечество, городское мещанство начинало заявлять о себе то гением Щелкина, Кипренского, то стихами Алипанова, Слепушкина, то энергией Полевого, Погодина и т. д.

Весть о возвращении Пушкина из ссылки быстро разлетелась по стране. Дельвиг писал поэту из Петербурга, что у него даже люди, то есть дворовые, прыгали от радости, услышав новость о Пушкине. Старый писатель В. И. Измайлов, в журналах которого появились первые стихи поэта-лицеиста, писал ему из подмосковной деревни 29 сентября: «Завидую Москве. Она короновала императора, теперь коронует поэта... Извините, я забываюсь. Пушкин достоин триумфов Петрарки и Тасса: но москвитяне — не римляне и Кремль — не Капитолий».

В честь поэта устраивались торжества, например, 26 октября в доме М. И. Римской-Корсаковой, где собиралась вся «грибоедовская Москва». Одновременно с посещениями светского общества, где Пушкин встречался с Вяземским, Баратынским, Чаадаевым, он знакомился с московской литературной средой, персонально для него почти совершенно новой.

Большим днем в литературной Москве было чтение Пушкиным «Бориса Годунова» 12 октября у Веневитиновых. Собрались братья Киреевские, братья Хомяковы, Погодин, поэт и историк литературы С. П. Шевырев, Соболевский, университетская ученая молодежь, В. И. Оболенский, А. М. Кубарев, Н. М. Рожалин, переводчик, один из «архивных юношей» И. С. Мальцев и др.

Пушкин привел всех в восхищение чтением народных песен о Степане Разине. Потом прочитал свою трагедию. «Вот истина на сцене», — в ту же ночь записал Погодин в дневнике свое впечатление, изложенное им в позднейшем воспоминании.

«Представьте себе обаяние его имени, живость впечатления от его поэм, только что напечатанных: «Руслана и Людмилы», «Кавказского пленника» и в особенности мелких стихотворений, каковы: «Празднество Вакха», «Деревня», «К домовому», «К морю», которые просто привели в восторг всю читающую публику, особенно нашу молодежь, архивную и университетскую. Пушкин представлялся нам каким-то гением, ниспосланным оживить русскую словесность. Он обещал прочесть всему нашему кругу «Бориса Годунова», только что им конченного. Можно представить, с каким нетерпением мы ожидали назначенного дня. Наконец, настало это вождеденное число. Октября 12 числа поутру спозаранку мы собрались все к Веневитинову и с трепещущим сердцем ожидали Пушкина. Наконец, в двенадцать часов, он является.

Какое действие произвело на всех нас это чтение, передать невозможно. До сих пор еще — а этому прошло сорок лет — кровь приходит в движение при одном воспоминании. Мы собрались слушать Пушкина, воспитанные на стихах Ломоносова, Державина, Хераскова, Озерова, которых все мы знали наизусть. Учителем нашим был Мерзляков, строгий классик. Надо припомнить и образ чтения стихов, господствовавший в то время. Это был распев, завещанный французскою декламацией, которой мастером считался Кокошкин и последним, кажется, представителем был в наше время граф Блудов. Наконец, надобно представить себе самую фигуру Пушкина. Ожидаемый нами величавый жрец высокого искусства — это был среднего роста, почти низенький человек, с длинными, несколько курчавыми по концам волосами, без всяких притязаний, с живыми, быстрыми глазами, вертлявый, с порывистыми ужимками, с приятным голосом, в черном сюртуке, в темном жилете, застегнутом наглухо, в небрежно завязанном галстуке. Вместо языка кокошкинского, мы услышали простую, ясную, внятную и вместе пиитическую увлекательную речь. Первые явления мы выслушали тихо и спокойно или, лучше сказать, в каком-то недоумении. Но чем дальше, тем ощущения усиливались. Сцена летописателя с Григорием просто всех ошеломила. Что было со мною, я и рассказать не могу. Мне показалось, что родной мой и любезный Нестор поднялся из могилы и говорит устами Пимена: мне послышался живой голос древнего русского летописателя. А когда Пушкин дошел до рассказа Пимена о посещении Кириллова монастыря Иоанном Грозным, о молитве иноков — «да ниспошлет господь покой его душе, страдающей и бурной», — мы все просто как будто обеспамятовали. Кого бросало в жар, кого в озноб. Волосы поднимались дыбом. Не стало сил воздерживаться. Один вдруг вскочит с места, другой вскрикнет. У кого на глазах слезы, у кого улыбка на губах. То молчание, то взрыв восклицаний, например, при стихах Самозванца:

Тень Грозного меня усыновила,  
Димитрием из гроба нарекла,  
Вокруг меня народы возмутила  
И в жертву мне Бориса обрекла.

Кончилось чтение. Мы смотрели друг на друга долго и потом бросились к Пушкину. Начались объятия, поднялся шум, раздался смех, полились слезы, поздравления. «Эван, эвое, дайте чаши!» Явилось шампанское, и Пушкин одушевился, видя такое свое действие на избранную молодежь. Ему было приятно наше внимание. Он начал нам, поддавая

пару, читать предисловие к «Руслану и Людмиле», тогда еще публике не известное:

У лукоморья дуб зеленый,  
Златая цепь на дубе том:  
И днем и ночью кот ученый  
Там ходит по цепи кругом;  
Идет направо — песнь заводит,  
Налево — сказку говорит...

Начал рассказывать о плане для «Дмитрия Самозванца», о палаче, который шутит с чернью, стоя у плахи на Красной площади в ожидании Шуйского, о Марине Мнишек с Самозванцем, сцену, которую создал он в голове, гуляя верхом на лошади, и потом позабыл вполовину, о чем глубоко сожалел. О, какое удивительное то было утро, оставившее следы на всю жизнь! Не помню, как мы разошлись, как dokonчили день, как улеглись спать. Да едва ли кто и спал из нас эту ночь, так был потрясен весь наш организм.

Московский литературный кружок признал в Пушкине самобытного гения, «поэтическое воспитание которого, — по словам Д. В. Веневитинова, — вполне закончилось: независимость его таланта является надежной гарантией его зрелости». О сцене в келье Веневитинов писал: «эта сцена, поразительная по своей простоте и энергии, смело может быть поставлена в один ряд со всем, что есть лучшего в театре Шекспира и Гете. Личность поэта не выступает здесь ни на одну минуту: все соответствует духу времени и характеру действующих лиц». Столь же восторженно писал он об отрывке из монолога Григория: «Подлинно античная простота здесь царит рядом с гармонией и верностью выражения, которые являются отличительными свойствами стихов г. Пушкина».

И. В. Киреевский по поводу сцены в келье (вместе с «Цыганами» и «Евгением Онегиным») писал в 1828 году, что после итальяно-французского и байронического этапов в творчестве Пушкина «начался период поэзии Русско-Пушкинской»; что «Пушкин рожден для драматического рода. — Он слишком многосторонен, слишком объективен, чтобы быть лириком».

Разговоры о новом журнале, о привлечении Пушкина к нему наконец кончились. Журнал решено было назвать «Московским вестником»; 24 октября состоялся торжественный обед сотрудников журнала; помимо основного ядра, присутствовали Баратынский, Соболевский и польский поэт Адам Мицкевич, находившийся в ссылке за участие в обществе филаретов и прикомандированный к канцелярии московского генерал-губернатора. Пушкин познакомился с ним незадолго перед тем при посредстве Соболевского.

Выразив согласие быть активным вкладчиком в новый журнал, Пушкин не отказывался от участия в «Московском телеграфе», куда он посылал из ссылки свои стихотворения по просьбе П. А. Вяземского, игравшего большую роль в редакционном коллективе органа Н. А. Полевого. Пушкин скептически относился к этому журналу и к его издателю.

Уже через неделю по приезде в Москву, попав в шумную суету столицы, справлявшей коронационный ритуал, поэт почувствовал усталость и стал вздыхать по Михайловскому, по Тригорскому. Он собирался уехать из Москвы в конце сентября, но задержался гораздо дольше, не только в связи с организацией нового литературного предприятия.

На октябрь 1826 года падает эпизод с его сватовством к С. Ф. Пушкиной, с которой он познакомился у В. П. Зубкова, приятеля И. И. Пущина, подобно декабристу служившего на судебном поприще, за связи с участниками 14 декабря просидевшего девять дней в Петропавловской крепости. С. Ф. Пушкина была светской девушкой. Быстро подружившись с Зубковым, поэт стал просить его убедить свояченицу дать согласие на брак с ним, хотя он знал, что у нее уже два года тянется роман с другим. В беседах с Зубковым Пушкин раскрывал свои интимные настроения, указывал, что для него настала пора думать о семейном гнезде, о своем доме. «Мне 27 лет, дорогой друг. Пора жить, т. е. познать счастье. Ты мне говоришь, что оно не может быть вечным: хороша новость! Не мое личное счастье меня заботит — могу ли я не быть самым счастливым из людей, находясь близ нее — я дрожу только при мысли о судьбе, которая, быть может, ее ожидает, — я дрожу при мысли, что не смогу сделать ее настолько счастливой, как мне того хотелось бы. Моя жизнь, доселе такая кочующая, такая бурная, мой характер — неровный, ревнивый, подозрительный, буйный и слабый одновременно — вот что дает мне минуты тягостного раздумья. — Следует ли мне связать с судьбой столь печальною, с характером столь несчастным — судьбу столь нежного, столь прекрасного существа?» С. Ф. Пушкина отказала ему и вышла замуж за того, кого поэт ревновал к ней. Памятником этого увлечения поэта остались стихотворения «Ответ Ф. Т.» (1826), «Зачем безвременную скуку» (1826).

В начале октября Пушкин получил официальное подтверждение, что опала с него снята; он не придавал значения некоторым полицейским оговоркам в полученной от шефа жандармов бумаге, даже ничего не ответил Бенкендорфу. С 30 сентября начинается официальная переписка генерала от жандармерии с поэтом, напоминающая временами игру кошки с мышью, иногда дуэльную перестрелку двух врагов, прикрытую высокомерной лестью и ядовитыми уколами со-

стороны одного, изысканным подбором выражений, граничивших с явным издевательством над корреспондентом со стороны другого. Вскоре А. Х. Бенкендорф обратился к Пушкину с напоминанием о царской воле получить от него его соображения о воспитании юношества.

Радостно извещал поэт Н. М. Языкова в письме от 9 ноября из Михайловского: «Царь освободил меня от цензуры. Он сам мой цензор. Выгода, конечно, необъятная. Таким образом, Годунова тиснем». В тот же день он писал Вяземскому: «Вот я в деревне. Доехал благополучно... Деревня мне пришла как-то по сердцу. Есть какое-то поэтическое наслаждение возвратиться вольным в покинутую тюрьму... Няня моя уморительна. Вообрази, что 70 лет она выучила наизусть новую молитву о умилении сердца владыки и укрощении духа его свирепости, молитвы, вероятно, сочиненной при царе Иване<sup>1</sup>. Теперь у ней попы дерут молебен и мешают мне заниматься делом... Милый мой, Москва оставила во мне неприятное впечатление»... Что вызвало у него последние строки? Москва встречала его как триумфатора. Он радуется, что более не чувствует себя узником. Неприятное впечатление столица оставила не в одном Пушкине. Баратынский 29 октября также писал своему знакомому: «Москва глупа и тошна». За блестящей сутолокой оба поэта увидели ликование новых людей, праздновавших свою победу: на коронационных торжествах веселилась мундирная новая знать. Верноподданное большинство дворянства радовалось, что оно избавилось от «извергов», «головорезов», замышлявших адский заговор, «безумных санкюлотов». «Вообразите, — писал Вяземский 29 сентября 1826 года, — что 14 и 13<sup>2</sup> уже и не в помине. Нет народа легкомысленнее и бесчеловечнее нашего».

Радуюсь своему освобождению, Пушкин видел в придворной, чиновной, барской массе, которую он встречал на балах, в театре, тех самых гонителей всего независимого, честного в стране, что держали его в шестилетнем изгнании, готовые при случае накинуться на него с той же жестокостью, если еще не ретивей. Вспомнил он эту Москву и приписал в VI главе «Онегина» две последние строфы, в которых выразил свое возмущение против той, по выражению Герцена, дряни александровского царствования, которая с победой Николая I всплыла на поверхность и стала давить все и всех, кто пытался идти против течения.

Из этого «омута» поползла по Москве гнусная клевета, которая заставила Пушкина бежать в деревню. Чьи-то подлые уста стали шептать по углам: Пушкин — шпион, пре-

<sup>1</sup> Церковная молитва в народе служила заговором, заклинанием от беды, насилия со стороны «властей предержавших».

<sup>2</sup> 14 — день восстания, 13 — день казни (13 июля 1826 г.).

датель; на него посыпались обвинения в ласкательстве, на-ушничестве перед государем.

Ни общественное окружение «Московского телеграфа» или «Московского вестника», ни вольнолюбивая молодежь, зачитывавшаяся Пушкиным и в его сочинениях находившая ключи к разрешению своих тревог, ни на мгновение не могут быть заподозрены в том, что царское «прощение» они истолковали как измену поэта, его капитуляцию перед престолом. Кому-то надо было дискредитировать поэта, лишить его обаяния в глазах читателей, поселить подозрение в честности его поведения. Пушкина боялись, — кратко зафиксировал мнение официальных кругов о поэте крупный чиновник охранного отделения. Пушкина боялись все, — отметил в своем дневнике Погодин после смерти поэта. Его стихотворных когтей действительно многие боялись, его эпиграммы жалили нестерпимо. Литературные староверы вроде Каченовского и др., его политические враги знали силу пушкинских ударов. «Добровольные холопы» сделали попытку обесславить поэта. Этот подлый навет он мог назвать «неотразимой обидой», ибо враг был безвестен, безличен...

«В деревне я писал презренную прозу, а вдохновенье не лезет», — сообщал Пушкин Вяземскому по поводу своей записки о народном воспитании, законченной им 15 ноября. Официальный заказ потребовал двух черновиков. «Я был в затруднении, когда Николай спросил мое мнение о сем предмете, — говорил он А. Вульффу. — Мне бы легко было написать то, чего хотели, но не надобно же пропускать такого случая, чтобы сделать добро. Однако я между прочим сказал, что должно подавить частное воспитание. Несмотря на то, мне вымыли голову».

За основу для работы Пушкин взял манифест 13 июля 1826 года, напечатанный в «Северной пчеле» № 85, 1826 г. Следуя его тематике и фразеологии, он иногда повторял некоторые оценки, иногда расширял их содержание, иногда вступал в полемику с манифестом и в общем высказал много горьких истин об общественной жизни страны.

В «Записке о народном воспитании» Пушкин вышел за пределы узко-педагогической тематики, которая ожидалась от него царем. Он внес в записку о воспитании юношества немало общих соображений, касавшихся взаимоотношений власти и подданных, положения литературы под цензурным игом, состояния общественных нравов, различных государственных законоположений.

Насколько позволяли обстоятельства, он отнесся к своей задаче с полным сознанием важности того дела, которое было ему поручено.

Пушкин передал копию своей записки Дибичу, тот—шефу жандармов, Бенкендорф направил записку царю с препроводительной бумагой: «он (Пушкин) мне только что прислал свои заметки на общественное воспитание, которые при сем прилагаю,— заметки человека, возвращающегося к здравому смыслу». Шеф жандармов пробежал, видимо, только первые строки записки, где увидел сходные с манифестом выражения, но быстро изменил свой взгляд, когда Николай, внимательно прочитавший записку, сообщил ему свое мнение. Царь испестрил почти все странички вопросительными знаками; против некоторых мест поставил по два, по три вопросительных знака. Его особенно поразили пункты: «нужна полиция, составленная из лучших воспитанников», «уничтожение телесных наказаний необходимо», «можно представить Брута защитником и мстителем коренных постановлений отечества» и т. д.; три вопросительных знака царь поставил против слов: «можно будет с хладнокровием показать разницу духа народов». Об этом духе народов он так недавно слышал неприятные для царского слуха речи декабристов, читал в письмах А. Бестужева, Н. Каховского. Перед казнью этот декабрист писал из тюрьмы 24 февраля 1826 года: «народы постигли святую истину, что не они существуют для правительства, но правительства для них должны быть устроены. И вот причина борений во всех странах; народы, почувствовав сладость просвещения и свободы, стремятся к ним; правительства же, огражденные миллионами штыков, силятся оттолкнуть народы в тьму невежества. Но тщетны их все усилия; впечатления, раз полученные, никогда не изглаживаются. Свобода, сей светоч ума, теплотвор жизни! была всегда и везде достоянием народов, вышедших из грубого невежества. И мы не можем жить подобно предкам нашим ни варварами, ни рабами».

На первой странице рукописи Бенкендорф записал карандашом по-французски мнение царя, которое вошло, с небольшими изменениями, в письмо к Пушкину, отправленное ему 23 декабря 1826 года: «Государь император с удовольствием изволил читать рассуждения ваши о народном воспитании и поручил мне изъявить вам высочайшую свою признательность. Его величество при сем заметить изволил, что принятое вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило, опасное для общего спокойствия, завлекшее вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, ~~бессмысленному~~ нравственному и бесполезному. На сих-то началах ~~должно~~ быть основано благонаправленное воспитание. ~~Видно~~ ~~же~~,

рассуждения ваши заключают в себе много полезных истин»<sup>1</sup>.

Царь и его помощник правильно поняли пушкинское понимание термина «просвещение», мировоззрение поэта принципиально отвергалось ими; тот и другой согласны были с мнением фон-Фока, что «под именем европейского просвещения разумеется либерализм». Оба сочли обязательным уколоть поэта, напомнить ему, что его представление о своем значении может привести его к печальным для него последствиям. В своей записке Пушкин нигде не упоминал о гении; Бенкендорф указал поэту, что его гений уже завлек его на край пропасти...

Когда Пушкин получил от царя ответ, он особенно не удивился; месяц тому назад ему стало ясно, что он не вырвался из тюрьмы, что царская «свобода», ему дарованная, полицейским режимом аннулирована; ответ царя на его записку лишь доказывал, что Николай и Бенкендорф одинаково рассматривают его как носителя вольнодумной заразы, которую надо обезвредить средствами III Отделения.

22 ноября 1826 года шеф жандармов через псковского губернатора направил Пушкину письмо, содержание которого сильно взволновало поэта:

«При отъезде моем из Москвы, не имея времени лично с вами переговорить, я обратился к вам письменно с объявлением высочайшего соизволения, дабы вы, в случае каких-либо новых литературных произведений ваших, до напечатания или распространения оных в рукописях, представляли бы предварительно о рассмотрении оных или чрез посредство мое, или даже прямо, его императорскому величеству.

Не имея от вас извещения о получении сего моего отъезда, я должен однако заключить, что оный к вам дошел, ибо вы сообщали о содержании оного некоторым особам.

Ныне доходят до меня сведения, что вы изволили читать в некоторых обществах сочиненную вами вновь трагедию.

Сие меня побуждает покорнейше просить вас об уведомлении меня: справедливо ли таковое известие или нет? Я уверен, впрочем, что вы слишком благомыслящи, чтобы не чувствовать в полной мере столь великодушного к вам монаршего снисхождения и не стремиться учинить себя достойным оного».

Пушкин поспешил ответить. 29 ноября он писал Бенкендорфу, что «действительно в Москве читал свою трагедию некоторым особам (конечно, не из послушания, но только

---

<sup>1</sup> Мнение Николая I еще резче выражало политическую неприемлемость для него точки зрения Пушкина: «выставляемое им начало, что просвещение и гений составляют все, есть начало ложное в глазах всех правительств».

потому, что худо понял Высочайшую волю государя)», и сообщал, что препровождает ему единственный имеющийся у него экземпляр трагедии с просьбой по прочтении возвратить ему. При этом прибавил, что он роздал несколько мелких своих сочинений в разные журналы и альманахи по просьбе издателей, и потому просит «разрешения сей неумышленной вины, если не успеет остановить их в цензуре». В тот же день он написал М. П. Погодину, чтоб тот приостановил в московской цензуре все, что носит его имя: «такова воля высшего начальства; покамест не могу участвовать и в вашем журнале — но все переменится и будет мука, а нам хлеб да соль. Некогда пояснять... Жалею, что договор наш не состоялся». Оба письма были написаны из Пскова, где он застрял на пути в Москву; несколько дней назад он выехал из Михайловского на перекладных, ящики опрокинули экипаж: дороги были отвратительны: «У меня помят бок, болит грудь и я не могу дышать. Вздешенный, я играю и проигрываю», — писал он 1 декабря В. П. Зубкову. Одновременно извещал П. А. Вяземского: «Меня доезжают. Изъясню после»... и С. А. Соболевского: «мне уже (очень мило, очень учтиво) вымыли голову». Письмо Бенкендорфа ставило Пушкина как писателя в исключительно тяжелое положение: ему запрещалось даже читать его знакомым свои произведения впредь до высочайшего одобрения. Кроме того, шеф жандармов давал понять ему, что непосредственным лицом, с которым поэт должен иметь дело для получения санкции на печатание, является он, Бенкендорф. И, наконец, письмом недвусмысленно говорило Пушкину, что за ним организовано полицейское наблюдение. Письмо раскрыло ему глаза на его действительное положение, бросило нерадостный ответ на будущее. Но оно в то же время освобождало его от данного царю честного слова «не противоречить своими мнениями общепринятому порядку»: царь нарушил договор, обратив освобождение от цензуры в худшую неволю, чем та, которую поэт знал раньше; он остается ему благодарным за то, что тюрьму в Михайловском заменил возможностью жить в столицах, передвигаться из города в город хоть и по предварительному разрешению, но читать друзьям то, что он захочет, он считает своим неотъемлемым правом, но писать и распространять то, что противоречит «порядку» в понимании царя и его приспешников, он также считает своим правом, как думал раньше.

Тайная полиция чуть не по пятам следила за Пушкиным. Она узнавала об его семейных отношениях, вскрывая письма его отца к В. Л. Пушкину, к родственникам (в октябре 1826 г.); его письма не доходили по адресу, — тщетно, не в одном письме, он просил Плетнева передать вдове Ры-

леева шестьсот рублей — авторский гонорар, полученный им за свои сочинения, которые когда-то намечались для альманаха «Звездочка», не вышедшего из-за ареста издателя-декабриста; в ноябре полковник Бибиков сообщил Бенкендорфу: «я слежу за сочинителем Пушкиным, насколько это возможно», и указывал список домов, где бывал поэт, содержание разговоров, которые велись с ним; в декабре тот же жандармский полковник сообщал, что он следит за сотрудниками «Московского вестника», на первом месте пометив Пушкина; в конце 1826 года Бенкендорф извещал Николая: «за Пушкиным следят внимательно»; в марте 1827 года агент III Отделения доносил своему шефу, что Пушкин, «как кажется, не столько занимается стихами, как карточной игрой».

Имя Пушкина то-и-дело всплывало в политических процессах, которые возникали с самого начала царствования Николая I. Дело декабристов продолжали вольнолюбивые разночинцы, ранние фаланги демократической интеллигенции, представители беспоместного дворянства, усвоившие передовые идеи; часть офицерской молодежи, хранившей память о казненных и ссыльных. В марте 1826 года агент тайной полиции рекомендовал «сосредоточить внимание на студентах и вообще на всех учащихся в общественных заведениях: воспитанные, по большей части, в идеях мятежных и сформировавшиеся в принципах, противных религии, они представляют собою рассадник, который со временем может стать гибельным для отечества и для законной власти». Далее сообщалось, что «даже в провинции ходят стихи, которые служат доказательством того, что есть еще много людей зложелательных».

В начале 1827 года возникло дело о распространении «зловредных» сочинений среди студентов Харьковского университета; по показанию студента Б. Розалион-Сошальского, «вольных сочинений Пушкина или выданных под его именем у редкого студента не находится».

В деле о декабристах, в новых политических процессах Пушкин выступал перед властями возбудителем «зловредных» мыслей. Неудивительно, что, когда бумага о прощении поэта, официально поданная Н. О. Пушкиной 31 августа 1826 года, наконец-то, через пять месяцев, добралась до Николая, — последовала чрезвычайно выразительная резолюция царя, кратко изложенная статс-секретарем Н. М. Лонгиновым: «высочайшего соизволения не последовало. 30 января 1827 г.». Так вскрывалось подлинное отношение царя к поэту, из-за символического жеста «прощения» протянулась жесткая рука коронованного Скалозуба. Когда-то Вяземский (9 сентября 1824 г.) писал Жуковскому о ссыльном поэте по поводу незаконной перепечатки Ольдекопом по-

эмы «Кавказский пленник»: «Не надобно же дать грабить Пушкина. Довольно и того, что его дают». Пушкина сразу начала давить новая власть, она же временами больно ударила его по карману запретом печатать его сочинения.

Под ее удар прежде всего попала трагедия «Борис Годунов».

9 декабря 1826 года Бенкендорф известил Пушкина о получении рукописи и обещал представить ее царю. Тот передал ему распоряжение: «я очарован слогом письма Пушкина, и мне очень любопытно прочесть его сочинение; велите сделать выдержку кому-нибудь верному, чтобы дело не распространилось». Шеф жандармов обратился к кому-то из литературно-образованных людей. В «Замечаниях на комедию о царе Борисе и Гришке Отрепьеве» этот литератор дал следующую оценку: «В сей пьесе нет ничего целого: это отдельные сцены или, лучше сказать, отрывки из X и XI тома Истории Государства Российского, сочинения Карамзина, переделанные в разговоры и сцены. Характеры, происшествия, мнения, — все основано на сочинении Карамзина, все отсюда позаимствовано... Дух целого сочинения монархический, ибо нигде не введены мечты о свободе, как в других сочинениях сего автора, и только одно место предосудительно в политическом отношении: народ привязывается к самозванцу именно потому, что почитает его отраслью древнего царского рода... Литературное достоинство гораздо ниже, нежели мы ожидали. Это не есть подражание Шекспиру, Гете или Шиллеру, ибо у сих поэтов в сочинениях, составленных из разных эпох, всегда находится связь и целое в пьесах. У Пушкина это разговоры, припоминающие разговоры Вальтера-Скотта. Кажется, будто это состав вырванных листов из романа Вальтер-Скотта... Прекрасных стихов и тирад весьма мало.. Некоторые места должно непременно исключить. Говоря сие, должно заметить, что человек с малейшим вкусом и тактом не осмелился бы никогда представить публике выражения, которые нельзя произнести ни в одном благопристойном трактате. Например, слова Маржерета<sup>1</sup>. Разумеется, что играть ее невозможно и не должно, ибо у нас не выдвигали патриархов и монахов на сцене»...

Николай, вероятно, не прочитавши пьесы, ухватился за одно замечание неизвестного рецензента трагедии и наложил резолюцию: «Я считаю, что цель г. Пушкина была бы выполнена, если бы с нужным очищением переделал комедию свою в историческую повесть или роман наподоб-

<sup>1</sup> Из сцены „Равнина близ Новгорода Северского“. Далее предлагалось исключить слова царя из сцены Бориса Годунова („Лишь строгостью мы можем неусыпной“ и т. д.), весь монолог Пушкина („Такой грозе, что вряд царю Борису“) и др.

бие Вальтер-Скотта». В докладной записке Бенкендорфа, человека вообще отличавшегося невежественным равнодушием к литературе, также были повторены соображения автора «Замечаний»: «Во всяком случае эта пьеса не годится для сцены, но с немногими изменениями ее можно напечатать; если ваше величество прикажете, я ее ему верну и сообщу замечания».

По смыслу высочайшей резолюции трагедия оказывалась запрещенной к печати, волею шефа жандармов она не подлежала включению в театральный репертуар. Пушкин уже предназначал роль Марины Мнишек А. И. Колосовой, о чем вел переговоры с Катениным летом 1826 года. Впрочем, театральная дирекция зарезала бы автора «Годунова» по другому мотиву. На заседании Главного комитета дирекции имп. театров 12 марта 1826 года состоялось решение: «Поставить правилом не принимать трагедий, писанных вольными белыми стихами, ибо стихотворение сие, походя совершенно на мерную прозу (prose cadencée), то есть худшую из проз, не только не соответствует достоинству трагедии, но не может быть терпимо ни в каком драматическом сочинении».

Когда Пушкин получил через Бенкендорфа отзыв царя, он поистине испытал то «горе от ума», которое почти одновременно выпало на долю гениального комедиографа, также не увидевшего своей пьесы на сцене. На официальном языке с примесью сарказма он ответил нежеланием подчиниться эстетическим взглядам Николая Романова. 3 января 1827 года он писал шефу жандармов: «С чувством глубочайшей благодарности получил я письмо вашего превосходительства, уведомляющее меня о всемиловитившем отзыве его величества касательно моей драматической поэмы. Согласен, что он более сбивается на исторический роман, нежели на трагедию, как государь император изволил заметить. Жалею, что я не в силах уже переделать мною однажды написанное»<sup>1</sup>. «Борис Годунов» на несколько лет застрял в портфеле автора. Не определившееся в цензурном ведомстве положение Пушкина позволило безболезненно проскочить в первый номер «Московского вестника» (январь 1827 г.) одной сцене из трагедии («Ночь. Келья в Чудове монастыре»).

Первое неприятное напоминание о принудительном вмешательстве власти в его писательскую и личную жизнь поэт получил в Пскове. Здесь он невольно вспомнил о своих друзьях, сделавших попытку борьбы с самовластьем.

<sup>1</sup> Николай интересовался узнать, каков будет ответ Пушкина на его отзыв: «Ответил ли он вам, — спрашивал царь Бенкендорфа, — по поводу замечаний на трагедию?»

13 декабря он написал послание И. И. Пущину, в котором выражал надежду, желание посетить лицейского товарища в его заточеньи.

Вечером 19 декабря Пушкин вернулся в Москву, остановился у Соболевского. В своей комнате, в простенке между окнами, он повесил портрет Жуковского, подаренный ему в день окончания «Руслана и Людмилы».

Однако, окруженный почитателями, «отличнейшей молодежью, собиравшейся к нему, как древле к великому Ару-эту» — Пушкин с кучал, как он говорил в марте 1827 года П. Л. Яковлеву, брату его лицейского товарища. Он вообще считал, что в основании характер его грустный, меланхолический, и если он бывает иногда в веселом расположении, то редко и не надолго. Ряд обстоятельств содействовал нарастанию в нем этой скуки, хандры независимо от субъективного самочувствия поэта. Какой-то червь начинал точить его всю ощутительней среди, казалось бы, яркой, праздничной обстановки. Он старался избавиться от тоскливого недомогания игрой в карты, проигрывал полностью свои — как он говорил — доходы с 36 букв русской азбуки, но эта азартная страсть лишь на короткое время отводила от него невеселые настроения. Многим казалось оскорбительным для гения такое времяпровождение Пушкина, но не все догадывались о причинах, которые иногда толкали его на встречи с профессиональными игроками. Он ответил своим судьям в стихотворении «Поэт» (15 августа 1827 г.), всем тем, кто распространял о нем слухи; будто он «в тисках» у игроков, кто чернил его в доносах: «Пушкин — несчастное существо, с огромным талантом, служит живым примером, что ум без души есть меч в руках бешеного. Неблагодарность и гордость — две отличительные черты его характера» и проч. и проч. Он ответил с той горькой самоукоризной, которая говорила, что великий поэт сам не отрицал в себе «человеческого, слишком человеческого»<sup>1</sup>...

Вскоре после возвращения в Москву, на квартире у В. П. Зубкова 22 декабря Пушкин написал «Стансы». Ему необходимо было как-то активно определить свое отношение к новой власти. Личное свидание с царем в Кремле, раздумья в Михайловском во время писания «Записки о народном воспитании», полученное в Пскове

---

<sup>1</sup> Со слов С. Д. Полторацкого, в молодости завязтого игрока, Герцен рассказал один характерный случай из жизни Пушкина: С. Д. П. несколько раз просил у Пушкина писем (Рылеева) для того, чтобы списать их. Раз за игрою П. ставил 1000 руб. асс. и предлагал Пушкину против этой суммы поставить письма Рылеева. В первую минуту Пушкин было согласился, но тотчас же опомнился, воскликнув: „Какая гадость. Проиграть письма Рылеева в банк. Я подарю вам их“.

письмо Бенкендорфа — давали разнородный материал впечатлений.

В надежде славы и добра  
Гляжу вперед я без боязни...—

так начиналось это стихотворение, в котором некоторые из современников поэта увидели выражение его лести перед царем; другие, как Языков, называли стансы «слишком холодными» с «неуместными выражениями»<sup>1</sup>. Поэт сопоставил начало царствования Николая с эпохой Петра I, поставил в один ряд «буйных стрельцов» с декабристами. Буйным поколением назвал он своих идейных друзей в черновике «Записок о народном воспитании»; о французской революции 1789 года он также отзывался: «буйность юная» (ср. «буйная Варшава», 1831; «так буйную вольность законы теснят» о кавказских горцах). Образ Петра указывался как идеальный тип монарха; поэт намечал новому царю тот путь, на котором славно действовал «северный исполин», на котором, если Николай будет следовать своему пращуру, поэт считал возможным сотрудничество с царем своей и всех тех, кто, «разделяя образ мыслей заговорщиков», признал «необходимость», «необъятную силу правительства, основанную на силе вещей». Правда, незлобие, неутомимая энергия на разнообразных поприщах:

То академик, то герой,  
То мореплаватель, то плотник,  
Он всеобъемлющей душой  
На троне вечный был работник...

в особенности на фронте просвещения:

Самодержавною рукой  
Он смело сеял просвещенье...

вера в народные силы, признание «глубокого предназначенья страны родной», — все это, по мнению поэта, те драгоценные качества Петра, которые сделали его великим императором и содействовали преобразованию России, переходу ее из варварства в семью европейских народов.

И был от буйного стрельца  
Пред ним отличен Долгорукой.

Князя Я. Ф. Долгорукого еще М. Щербатов, историк-публицист екатерининской поры, за независимое поведение

<sup>1</sup> Среди читателей ходил ложный слух, о котором писал А. И. Михайловскому-Данилевскому 10 января 1828 г. А. И. Тургенев: «Прилагаю вам стихи Пушкина (прогресс), написанное автором в присутствии государя, в кабинете его величества» („Русская старина“, 1890, декабрь, стр. 727).

при дворе, за его возражения императору во имя интересов государства противопоставлял фаворитам, вельможам-временщикам. Пушкин напомнил об этом государственном деятеле с определенной политической целью, ему был известен случай, когда вельможи, расхваливая деяния Петра, начали превозносить его выше отца его, царя Алексея Михайловича; один Долгорукий молчал; заметив это, Петр спросил его мнение; указав, что его отец издал Уложение, «которое ныне по перемене обычаев перемены требует», и тем самым многое сделал для устройства государства, Долгорукий сказал Петру: «Когда окончишь ты все свои подвиги благими узаконениями, тогда справедливо можно будет сказать, что весьма превзошел твоего отца»... Образ Долгорукого был популярен в декабристской литературе; его нередко рисовал в своих «Думах» К. Ф. Рылеев, как «мужа совета», который «служба добру, творил вельможам укоризны и правду говорил Петру для благоденствия отчизны», который «как твердый страж добра, дерзал оспаривать Петра» (см. «Гражданское мужество», 1824, и др.). «Стансы» Пушкина советовали Николаю найти государственных людей типа Долгорукого, а не Бенкендорфа; вообще быть подобным «во всем» Петру, в частности:

И памятью, как он, незлобен.

Последний стих был призывом к милосердию царя, к прощению или смягчению участи сурово наказанных им декабристов.

«Надо призывать милосердие на головы виновных и жертв», — писал Вяземский в ноябре 1826 года С. И. Тургеневу. Пушкин в декабре того же года обратился к царю с политическими советами и напоминанием о ссыльных. 26 декабря в салоне Зинаиды Волконской он восторгался героизмом, самоотвержением жен декабристов, решивших поехать в далекую Сибирь. На прощальном вечере в честь М. Н. Волконской (Раевской) «он был полон самого искреннего восхищения» (вспоминала Мария Николаевна, уезжавшая к мужу, С. Г. Волконскому): «Он хотел передать мне свое «Послание» к узникам, для вручения им, но я уехала в ту же ночь, и он передал его Александрине Муравьевой. Пушкин говорил мне: «Я хочу написать сочинение о Пугачеве. Я отправлюсь на места, перееду через Урал, проеду дальше и приеду просить у вас убежище в Нерчинских рудниках». До какой степени Пушкин был близок «духу времени», как врос он в народную почву, глубоко чувствовал народные чаяния, показывает его интерес к Пугачеву в то самое время, когда в народных толках имя вождя крестьянского восстания стало бродить, пугая врагов народа. В отчете III Отделения за 1827 год на основании агентурных сведений сообщалось: «Среди крестьян цирку-

лирует несколько пророчеств и предсказаний: они ждут своего освободителя, как евреи своего мессию, и дали ему имя Метелкина. Они говорят между собою: «Пугачев попугал господ, а Метелкин пометет их». В начале каждого нового царствования мы видим бунты, потому что народные страсти не довольствуются желаниями и надеждами». Различая дело декабристов и движение, возглавлявшееся Пугачевым, Пушкин сливал их в один образ борцов за свободу против тиранства. Народный герой, связанный с Уралом, вязался в один узел с дворянскими революционерами, томившимися за Уралом и тоже обвеянными героической легендой.

Характерный признак, отмеченный в Петре: «на троне вечный был работник», был отражен в северно-великорусских сказках о Петре I, и здесь Пушкин сошелся с крестьянской легендой о царе-преобразователе; разночинец-демократ В. Г. Белинский восторженно отзывается как об этой строфе, так и о «Стансах» в целом: «Как глубоко знаменательны, как возвышенно благородны эти простые житейские слова — плотник и работник... Кроме простоты и в мыслях, в чувствах и в выражении, есть что-то русское, народное в самом тоне и складе этих пьес»<sup>1</sup>.

Когда Пушкин встретился с уезжавшей в Сибирь женой Никиты Муравьева, А. Г. Муравьевой, он так был взволнован, так сильно сжал ей руку, что она не могла продолжать писать письмо. Он передал ей «Послание в Сибирь», причем сказал: «Я понимаю, почему они не приняли меня в свое общество: я не был достоин этих господ»... А. Г. Муравьева в Чите, в первый день приезда туда И. И. Пущина (5 января 1827 г.) передала ему через частокол листок бумаги, написанный неизвестной для него рукой и полученный ею от одного знакомого в Петербурге. Пущин прочитал послание к нему поэта, написанное в Пскове 13 декабря. «Отраднo отозвался во мне голос Пушкина. Преисполненный глубокой, живительной благодарностью, я не мог обнять его, как он меня, когда я первый посетил его в изгнании», — вспоминал декабрист своего друга. Надо обладать бесстрашием, гражданским героизмом, чтоб решиться в те годы послать «во глубину сибирских руд» стихотворение с приветом каторжанам, полным любви и дружества, с ожиданием «желанной поры»:

Оковы тяжкие падут,  
Темницы рухнут — и свобода  
Вас примет радостно у входа,  
И братья меч вам отдадут!

<sup>1</sup> Кроме „Стансов“, Белинский имел в виду стихотворение „Пир Петра Великого“.

Это был действительно «свободный глас», едва ли не впервые дошедший в «каторжные норы» к декабристам. Пушкин открыто заявлял, что участники 14 декабря сделали великое дело:

Не пропадет ваш скорбный труд  
И дум высокое стремление<sup>1</sup>.

Бывшему лицеисту Пушкину поэт напомнил лицейскую прощальную песню, сочиненную Дельвигом, — стих:

Храните гордое терпенье...

был заимствован оттуда:

Храните, о друзья, храните  
В несчастье гордое терпенье...

Известен ответ барду — Пушкину декабриста А. И. Одоевского, назвавшего его стихи «пламенными». Ссылные декабристы, как свидетельствует И. И. Пущин, радостно следили за литературным развитием поэта: «Мы наслаждались всеми его произведениями, являвшимися в свет, получая почти все повременные издания». И. И. Пущин получил присланное ему бывшим директором лицея Энгельгардтом «19 октября» (1827 года), кончавшееся стихами:

Бог помощь вам, друзья мои,  
И в бурях, и в житейском горе,  
В краю чужом, в пустынном море,  
И в мрачных пропастях земли.

«И в эту годовщину в кругу товарищей-друзей Пушкин вспомнил меня и Вильгельма, живо погребенных, которых они не досчитывали на Лицейской сходке», — взволнованно писал И. И. Пущин, чувствуя кровную связь поэта с «братьями, друзьями, товарищами». В «Арионе» (16 июля 1827 г.) Пушкин демонстративно подчеркивал эту связь с декабристами, свою верность их идеалам после 14 декабря:

На берег выброшен грозою,  
Я гимны прежние пою...

Повествование в третьем лице:

Их было много на челне...  
А он, беспечной веры полн,  
Пловцам он пел...

---

<sup>1</sup> Ср. мнение о декабристах П. Я. Чаадаева в „Философическом письме“, написанном в 1829 году: „Великий государь (Александр I) приобщил нас своему великому посланию, проведши победителями с одного края Европы на другой; мы прошли просвещеннейшие страны света и что ж принесли домой. Одни дурные понятия, гибельные заблуждения, которые отодвинули нас назад еще на полстолетие. Не знаю; в крови у нас есть что-то отталкивающее, враждебное совершенствованию“.

было заменено рассказом, где формой на с, я поэт указывал на личную близость с погибшими, идейную общность с ними при различии жизненной судьбы; первоначальную тему субъективного характера: «гимн избавления пою» — намеренно переключил в общественную с декабристской традицией.

В октябре того же 1827 года Пушкин случайно встретился с декабристом-арестантом В. К. Кюхельбекером. Он записал эту встречу: «15 октября 1827. Вчерашний день был для меня замечателен. Приехав в Боровичи в 12 часов утра, застал я проезжающего в постели. Он метал банк гусарскому офицеру. Перед тем я обедал. При расплате недостало мне 5 рублей, я поставил их на карту и, карта за картой, проиграл 1600. Я расплатился довольно сердито, взял займы 200 руб. и уехал, очень недоволен сам собою. На следующей станции нашел я Шиллерова «Духовидца», но едва успел прочитать я первые страницы, как вдруг подъехали четыре тройки с фельдъегерем. — Вероятно, поляки, сказал я хозяйке. «Да, отвечала она, их нынче отвозят назад». — Я вышел взглянуть на них. Один из арестантов стоял, опершись у колонны. К нему подошел высокий, бледный и худой молодой человек с черною бородою, в фризевой шинели. Увидев меня, он о живостью на меня взглянул. Я невольно обратился к нему. Мы пристально смотрели друг на друга — и я узнаю К(юхельбекера). Мы кинулись друг другу в объятия. Жандармы нас растащили. Фельдъегерь взял меня за руку с угрозами и ругательством — я его не слышал. К(юхельбекеру) сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали. — Я поехал в свою сторону. На следующей станции узнал я, что их везут из Шлиссельбурга, — но куда же?»

Кюхельбекер нашел возможность из крепости посылать на волю письма. 10 июля 1828 года он писал своему другу из Динабургской крепости: «Свидания с тобою, Пушкин, век не забуду»; 20 октября 1830 года вновь вспоминал встречу на станции Залазы: «Помнишь ли наше свидание в роде романтическом: мою бороду? фризую шинель? медвежью шапку? Как ты, через семь с половиною лет, мог узнать меня в таком костюме, вот чего не постигаю». Пушкин посылал Кюхельбекеру книги, хлопотал об издании его сочинений; лицейский товарищ дорожил его вниманием, неизменной любовью к себе. В письме к Дельвигу из Баргузина 12 февраля 1836 года, иронизируя над «рассудительными господами», которые «обыкновенно взводят на грешных служителей стиха и рифмы», что «поэт и человек недельный одно и то же», Кюхельбекер писал: «а вот же Пушкин оказался другом гораздо более дельным, чем все

они вместе. Верь, Александр Сергеевич, что умею ценить и чувствовать все благородство твоего поведения; не хвалю тебя и даже не благодарю, потому что должен был ожидать от тебя всего прекрасного; но клянусь, от всей души радуюсь, что так случилось». В том же году Кюхельбекер послал Пушкину стихотворение «18 октября», вскрывающее огромное значение Пушкина — поэта и человека в его жизни и революционизирующую роль пушкинских стихов в жизни «братьев»:

Чьи резче всех рисуются черты  
Пред взорами моими? Как перуны  
Сибирских гроз, его золотые струны  
Рокочут... Песнопевец, это ты!  
Твой образ — свет мне в море темноты.  
Твои живые, вещие мечты  
Меня не забывали в ту минуту,  
Когда, уединен, ты пил кручину,  
Когда и ты, как некогда Назон,  
К родному граду простирали объятия,  
И над Невоею встрепетали братья,  
Услышав гармонический твой стон.  
С седого Пейпуса волшебный, он  
Раздался, прилетел и прервал сон,  
Дремоту наших мелких попечений  
И погрузил нас в волны вдохновений...

В своих раздумьях о судьбе декабристов Пушкин допускал возможность повторения ее в своей жизни. В альбомной записи 1827 года встречается двестише:

Вы ж вздохнете ль обо мне,  
Если буду я повешен.

Герой романа, Ленский мог кончить жизнь сходно с декабристами — в ссылке.

Иль быть повешен, как Рылеев.

В январе 1827 года Пушкин убедился, что он в самом деле «не ушел от жандарма». Дело о распространении стихотворения «На 14 декабря» вошло в новую стадию. Арестованные штабс-капитан Алексеев, доставший у кого-то осенью 1825 года запретный отрывок «А. Шенье», 29 сентября 1826 года был приговорен особой военно-судной комиссией к смертной казни, прапорщик Молчанов, которому Алексеев передал в феврале 1826 года списать эти стихи, по высочайшему повелению был переведен из гвардии в армию. Дело о них было передано в Аудиториатский департамент Главного штаба, который признал необходимым допросить Пушкина, «им ли сочинены известные стихи, когда, с какой целью они сочинены, почему известно ему сделалось наме-

рение злоумышленников, в стихах изъявленное, и кому от него сии стихи переданы; в случае же отрицательства, не известно ли ему, кем оные переданы; в случае же отрицательства, не известно ли ему, кем оные сочинены». 13 января 1827 года Пушкин, приглашенный московским обер-полицеймейстером для дачи показаний, ответил, что «он не знает, о каких известных стихах идет дело, и просит их увидеть, и что не помнит стихов, могущих дать повод к заключению, почему известно ему сделалось намерение злоумышленников, в стихах изъясненных, по получении же оных он даст надлежащее показание». Когда через некоторое время в особо запечатанном пакете ему были переданы стихи, он увидел злополучный отрывок из «А. Шенье», о котором уже несколько месяцев назад вел беседу в Кремле с царем.

Профессионал-литератор, прежде всего исправил в своих стихах несколько ошибок переписчика, даже сделал одну поправку. Затем Пушкин написал следующее объяснение:

«Сии стихи действительно сочинены мною. Они были написаны гораздо прежде последних мятежей и помещены в Элегии Андрей Шенье, напечатанной с пропусками в собрании моих Стихотворений.

Они явно относятся к французской революции, коей А. Шенье погиб жертвою».

По постановлению Аудиториатского департамента от Пушкина вновь потребовали дополнительных разъяснений. 29 июня 1827 года в Петербурге он дал показание:

«Элегия Андрей Шенье напечатана в Собрании моих стихотворений, вышедших из цензуры 25 окт. 1825 г. Доказательство тому одобрение цензуры на заглавном листе».

Николай I все время следил за делом, мемория Государственного совета была утверждена высочайшим повелением 28 июля 1828 года.

Пушкин официально был отдан под надзор. Отныне, куда бы он ни направлялся, вдогонку ему летели полицейские отношения; губернаторы, полицеймейстеры, пристава в каждом городе следили за его пребыванием, отъездом и т. д. Донимала его опека Бенкендорфа, принимавшая оскорбительные для поэта формы. Когда Пушкин в феврале 1827 года поручил Дельвигу исходатайствовать у Бенкендорфа разрешение на печатание некоторых своих произведений, шеф жандармов в письме к нему от 4 марта 1827 года выражал удивление, как смел поэт избрать посредником в сношениях с ним, основанных на высочайшем соизволении, постороннее лицо, и рекомендовал обратить внимание на заглавные буквы друзей в пьесе «19 октября»: «не могут ли они подать повода к неблагоприятным для Вас собственным заключениям». «19 октября» (1825 г.) появилось в печати с пропуском имен лицеистов — а Пушкин

вспоминал Кюхельбекера, Пущина и мн. др. — и с цензурными сокращениями.

Когда 24 апреля 1827 года Пушкин обратился к шефу жандармов за разрешением приезда в Петербург по семейным обстоятельствам, тот ответил ему 3 мая так, как будто пред ним был человек, в поведении которого всегда могут обнаружиться изъяны недопустимого свойства: «Его величество, соизволяя на прибытие ваше в Петербург, высочайше отозваться изволил, что не сомневается в том, что данное русским дворянином государю своему честное слово: вести себя благородно и пристойно, будет в полном смысле сдержано»...

Мытарство со стихотворением «Андрей Шенье», переписка с Бенкендорфом гнетуще действовали на душевное состояние Пушкина в годы пребывания в Москве. Оглядываясь вокруг, он не видел около себя внутренне-близких ему людей. Вяземский, более или менее сходно думавший о литературе<sup>1</sup> и о новой политической обстановке, приятный собеседник, по своему типу не мог заменить Пущина, Кюхельбекера, Рылеева, Бестужева; Дельвиг жил далеко в Петербурге; Чаадаев ушел в поиски неохристианского мировоззрения. Та культурная группа, которая объединялась около «Московского вестника», не отвечала ни его основным эстетическим взглядам, ни его политическому вольнолюбию. Шеллингианская теория искусства с догматическими утверждениями ее апологетов, сотрудников журнала, что первым признаком поэзии должна быть «таинственность», что «поэт живет отшельником от действительного мира в мире своей фантастики», была по существу враждебна реалистическим установкам Пушкина.

Невзирая на запрещение, Пушкин продолжал публично читать трагедию.

---

<sup>1</sup> Пушкин ценил критические статьи Вяземского: „за одну статью Вяз... в Тел(еграфс) отдам три дельные статьи М. Вести. Его критика поверхностна или несправедлива; но образ его мыслей и их выражение резко оригинальны; он мыслит, сердит, и заставляет мыслить и смеяться: важно достоинство, особенно для журналиста“ (1827). Но в литературных суждениях Вяземского был налет консерватизма: он, напр., предпочитал баснописца Дмигриева Крылову, в котором Пушкин видел выражение народного, национального духа. О романе Пушкина он отзывался 18 апреля 1828 г. в письме к А. И. Тургеневу: „До сей поры главная поэзия его заключалась в нем самом. Онегин хорош Пушкиным, но как создание, оно слабо“; в „Борисе Годунове“ находил „красоты первостепенные“: „вообще истина удивительная, трезвость, спокойствие. Автора почти нигде не видишь. Перед тобой не куклы на проволоке, действующие по маню жулисного фокусника. Но за то, может быть, мало создания. Вальтер Скотт также историчен, но все более соображений в его картинах. Читая его, угадываешь, что человек этот может и выдумать события, создать свою историю: в Борисе Годунове не находишь того убеждения...“ (17 мая 1828 г.).

21 мая 1828 года он читал в петербургском салоне Лавалья, где его слушали Мицкевич, Грибоедов, Вяземский и др. Все они, как и Баратынский и Жуковский, познакомившиеся в разное время с трагедией, высоко оценили новый труд поэта-драматурга. Избранные умы поняли, что вносил в русскую драматургию, в театр автор «Годунова», но те, читатели из общества, чей голос доходил до Пушкина, в 1827 году обнаружили такое косное, чуждое, враждебное писателю отношение, что он поставил перед собой вопрос, не защитить ли самому печатно свое любимое детище, не ознакомить ли читателей с своей драматургической теорией? Он набросал заметки на эту тему, но бросил, не доработав. Он думал, что своей «истинно романтической трагедией наделал чудеса, что публика скажет ему большое спасибо», но, рассматривая критические статьи по вопросам теории искусства, он начал подозревать, что жестоко ошибся: «Я начал подозревать, что трагедия моя есть анахронизм». В нем поколебалась авторская уверенность. Это признание Пушкина, драматурга-новатора, встретившего в господствовавшем общественном слое традиции «жеманства лжеклассической французской поэзии», должно быть учтено, как один из ранних моментов в истории его литературного одиночества. В устных толках он слышал, что одни (судьи строгие) обратили внимание на политические мнения Пимена (зная, что лица, выведенные драматическим писателем, должны высказывать собственные мнения) и нашли их запоздалыми; другие сомневались, могут ли стихи без рифм называться стихами и проч. «Тем и кончился строгий суд почтеннейшей публики. Что же из этого следует... Воспитанные под влиянием французской литературы русские привыкли к правилам, утвержденным ее критикой, и неохотно смотрят на все, что не подходит под сии законы. — Нововведения опасны и, кажется, не нужны».

Трагедия литературного революционера в общественной среде, не желающей расставаться с своими предрассудками, — таков смысл заключительных слов предполагавшегося Пушкиным печатного обращения к тогдашнему читателю.

Адам Мицкевич перевел стихи поэта на польский язык («Воспоминание»), подарил ему экземпляр сочинений Байрона (изд. 1826 г.) с надписью на польском языке: «Байрона Пушкину посвящает поклонник обоих — А. Мицкевич». Пушкин пленен был его поэзией и его даром импровизации, его увлекательными беседами, пропитанными панславизмом и утопическим социализмом:

...мы

Его любили. Мирный, благосклонный,  
Он посещал беседы наши. С ним

Делились мы и чистыми мечтами  
И песнями (он вдохновен был свыше  
И с высоты взирал на жизнь) Нередко  
Он говорил о временах грядущих,  
Когда народы, распри позабыв,  
В великую семью соединятся.  
Мы жадно слушали поэта.

Когда А. Мицкевичу кто-то стал указывать на слабые стороны Пушкина, польский поэт отвечал: «Пушкин — первый поэт своего народа: вот что дает ему право на славу». Встретясь где-то на улице с Мицкевичем, поэт посторонился и сказал: «С дороги двойка, туз идет». На что Мицкевич тут же отвечал: «Козырная двойка туза бьет». Что Пушкин, по словам Мицкевича (в письме к Э. А. Одынцу в марте 1827 г.), «хорошо знал современную литературу, о поэзии имеет чистые и возвышенные понятия», это мнение не удивительно. Он сохранил о беседах с русским поэтом, с которым часто видался в течение 1826—1829 годов, впечатление, которое раскрывает Пушкина более сложно и значительно. «В разговорах Пушкина, которые делались с течением времени все серьезнее, можно было заметить и зародыши будущих его произведений. Он любил касаться высоких религиозных и общественных вопросов, которые и не снились его землякам. Очевидно, в нем происходило какое-то внутреннее перерождение... Он презирал авторов, пишущих бесцельно, он не любил философского скептицизма и артистического равнодушия, которое видел в Гете. Что творилось в его душе? Рождались ли в ней в тиши стремления, одухотворяющие произведения Манцони или Пеллико, плодотворные размышления Томаса Мура, тоже умолкнувшего? Может быть, творческий путь его работал над тем, чтобы воплотить в себе идеи вроде идей Сен-Симона или Фурье? Не знаем. В мелких его стихотворениях и в разговорах можно было заметить признаки обоих указанных направлений».

Это воспоминание Мицкевича рисует Пушкина в движении, на путях общеевропейской культуры, насыщенным идеями, перекликавшимся с самыми передовыми мыслителями. Польский поэт почувствовал в русском гении динамику его творчества, присутствие колоссальных духовных сил, которым предстояло всестороннее развитие. «Слушая, как он говорил об иностранной политике или о политике своей родины, можно было бы подумать, что это говорит муж, поседевший в государственных делах, читающий ежедневно отчеты всех парламентов», — эти строки Мицкевича рисуют поэта с иной стороны: в салонах и кружках Москвы и Петербурга выступал не только поэт, но и политический мыслитель, зорко разбиравшийся в государственных и общественных делах, европейских и русских.

Пушкин знакомил польского поэта с русским народным творчеством; будучи в Петербурге, повез его познакомиться с поэтом, вышедшим из крестьянства, автором «Досугов сельского жителя» (1826): «сбирается к Слепушкину в Рыбацкое с Мицкевичем», — записал в дневнике (в мае 1828 г.) литератор Б. М. Федоров.

С другой стороны, он пытался сделать знакомым имя польского поэта русскому читателю: начал переводить из поэмы «Конрад Валленрод», закончил перевод двух баллад. Имя Мицкевича встречается в строфах «Путешествия Онегина», в «Сонете», в примечании к «Медному всаднику».

7 января 1828 года Пушкин подал в III Отделение записку с ходатайством о разрешении А. Мицкевичу возвратиться в Польшу. Этим актом недавно освобожденный из ссылки Пушкин доказал и меру своей любви к великому польскому поэту и чувство своей независимости перед политической властью, в это время его травившей в разных инстанциях. Этот акт Пушкина был понятен Мицкевичу, но польский поэт не мог понять, почему его друга «стали обвинять в измене патриотическому делу»: «так как его возраст и опыт налагали теперь на Пушкина обязанности большей меры и осторожности в словах и осмотрительности в поступках, то все эти изменения стали приписывать расчётам его самолюбивого честолюбия». Мицкевич приписывал эти толки русским либералам. Но либерально настроенная часть тогдашнего общества, близкая, например, к «Московскому телеграфу», на своих частных собраниях встречала Пушкина, продолжавшего в эти годы читать свои недозволенные стихотворения. В редакции этого журнала гораздо позже стало слагаться мнение о Пушкине, изложенное Ксенофонтом Полевым в его воспоминаниях: «Брат мой, постепенно разочарованный поступками Пушкина в отношении к нему самому, был еще больше разочарован его действиями в обществе, которому этот великий поэт готов был жертвовать нравственным достоинством, лстя вельможам, втираясь в большой свет, добываясь камер-юнкерского мундира и разных милостей, которые и сыпались на него щедро»<sup>1</sup>. Мнение Н. А. Полевого ничем не отличалось от болгаринского выпада против поэта в самый разгар озлобленной по-

<sup>1</sup> Еще в 1829 г. «Московский телеграф» выступал «против осуждающих Пушкина». По поводу первой части «Стихотворений» в этом журнале было напечатано: «Живая, пламенная душа (Пушкина), глубокая проникательность ума, необыкновенная способность и ненасытимое стремление его к учению оправдывают русскую поговорку, что человек может, по крайней мере нравственно, расти не по годам, а по часам. Пушкина можно назвать ныне одним из просвещеннейших людей в России и вместе первым поэтом своего народа». Эти строки с полной очевидностью показывают, что отрицательная оценка Полевым «нравственных» качеств поэта не относится к 1820—1829 гг.

лемики с автором эпиграммы о Фиглярине Видоке. «Северная пчела» (в 1830 г.) под видом характеристики одного французского стихотворца метила в Пушкина, говоря, что поэт «бросает рифмами во все священное, чванится пред чернью вольнодумством, а тишком ползает у ног сильных, чтоб позволили ему нарядиться в шитый кафтан». Из того же лагеря была брошена эпиграмма против поэта:

Я прежде вольность проповедал,  
Царей с народом звал на суд,  
Но только царских щей отведал—  
И стал придворный лизоблюд.

Что Пушкин изменился в своей манере поведения, обращения с людьми, это все видели. В «высшем обществе», где — он знал — за ним следили, он старался быть сдержанным в политических высказываниях; на вечеринке среди петербургских писателей, опускавших в бокалы с вином концы листочков, на которых были написаны «Стансы», пил за здоровье Николая и даже повез вдове Карамзина куплет, хором петый в честь царя. Это знали многие, в том числе и Полевой, рассказывавший, как он подкупал цензоров. Пушкин в 1826 году даже подводил теоретические основания для своего поведения тотчас после освобождения из ссылки. В автобиографических записках по поводу того, что История Карамзина была напечатана в России, он написал: «государь, освободив его от цензуры, сим знаком доверенности некоторым образом налагал на Катенина обязанность всевозможной скромности и умеренности». Конечно, кишиневские резкости уже не срывались с его уст, в ответ на тактически неуместный призыв Карамзина вернуться на этот путь он ответил 10 ноября 1828 года решительным отказом, предлагая самому автору «Старой были» пожинать «Лавры Корнеля или Тасса» (т. е. нищету и сумасшествие); В. С. Филимонову, приславшему ему поэму «Дурацкий колпак», он признался, что любимый им колпак изношен:

Он поневоле мной заброшен:  
Не в моде нынче красный цвет.  
(1828 г.)

Но «неуимчивый», по словам Арины Родионовны, он не мог допустить мысли, чтоб кто-либо заподозрил его; что он мог склонить свою «гордую голову» перед властью.

15 сентября 1827 года к нему заехал в Михайловское А. Н. Вульф. Приятель по Тригорскому увидел его в молдаванской красной шапочке и халате за рабочим столом, на котором рядом с разбросанными принадлежностями уборного столика поклонника моды дружно лежали Монтестье,

«Журнал или Поденная записка памяти Петра Великого, изданная М. М. Щербатовым в 1770—1772 годах, Алфиери, французский журнал XVIII века, русские альманахи и проч. В разговоре с Вульфом, играя на бильярде, Пушкин сказал: «Удивляюсь, как мог Карамзин написать так сухо первые части своей «Истории», говоря об Игоре, Святославе. Это героический период нашей истории. Я непременно напишу историю Петра I, а Александрову — пером Курбского. Непременно должно описывать современные происшествия, чтобы могли на нас ссылаться. Теперь уже можно писать и царствование Николая, и об 14 декабре». Автор «Послания в Сибирь», «Ариона» в поэтической форме высказал свое отношение к этому историческому событию и его деятелям. Продолжая испытывать стеснения при Николае, как и при его брате, Александре, Пушкин невольно припомнил п е р о Курбского, обличительные послания опального боярина против московского царя, ставшего символом тиранства на престоле.

Клевета, пущенная по его адресу<sup>1</sup>, давала повод выступить с политической программой, которая одновременно опрокидывала бы ложные слухи, дошла бы до его идейных друзей, где бы они ни находились — в Сибири, на Кавказе, в центре России, в ссылке или на воле, и которая бы показала власти, чем она должна быть в данный исторический момент. Стихотворение «Друзьям» (1828) было политическим памфлетом, в котором поэт-публицист давал оценку текущей государственной жизни, вскрывал свое отношение к ней и намечал творческую линию монарха, его помощников, выступая, как в «Записке о народном воспитании», как в «Стансах», политическим советником Николая I, не отъединяя в своей личности поэта от гражданина.

Нет, я не льстец, когда царю  
Хвалу свободную слагаю:  
Я смело чувства выражаю,  
Языком сердца говорю.

Пушкин был всегда точен в выражениях. Его стихи полны терминами, содержание которых с течением времени или выветрилось или заменилось новыми значениями, но культурным современникам его было понятно. В первой строфе и в трех последних таковым термином является л ь с т е ц. На языке XVIII века и в начале XIX века л ь с т е ц о м на-

<sup>1</sup> См. у Пушкина:

Я слышу — жужжанье клеветы лукавой,  
Решенья глупости и легкой суеты  
И шопот зависти кровавой...

звался вельможа в «случае», временщик, придворный, особо приближенный к государю и оказывающий на него влияние, губительное для страны. М. Щербатов называл «выскачкой и льстецом» Потемкина.

Пушкин спокойно отводил от себя лживые обвинения своих врагов, будто он стал «придворным лизоблюдом», «льстецом», и обращался к своим друзьям-братьям на языке, им понятном:

Я льстец? Нет, братья, льстец лукав...  
и т. д.

В той же первой строфе Пушкин использовал поэтический оборот своего предшественника, пользовавшегося непомеркнувшей славой среди читателей, «бича вельмож», по его выражению, Державина, которого и Рылеев включил в героическую панораму исторических деятелей в своих «Думах»

Стих  
Языком сердца говорю...

должен был напомнить читателям державинское<sup>1</sup> стихотворение «Лебедь» (1808) с незапятнанным образом — символом поэта, друга народов:

Со временем о мне узнают:  
Славяне, гунны, скифы, чудь,  
И все, что бранью днесь пылают,  
Покажут перстом, — и рекут.  
„Вот тот летит, что, строя лиру,  
Языком сердца говорил  
И, пропсведую мир миру,  
Себя всех счастьем веселил“.

«Хвалу свободную слагаю». Установкой на настоящее время Пушкин аннулировал извращенное понимание «Стансов», в которых он якобы хвалил Николая I. Поэт слагает хвалу ему свободно, без лицепрятия, без задних мыслей, за то, что

Россию вдруг он оживил  
Войной, надеждами, трудами.

Пушкин точно констатировал общественное мнение своих современников, распространенное в разных общественных кругах в эти годы.

*Литературная*  
**УЧЕБА**

**ОРГАН СОЮЗА  
СОВЕТСКИХ  
ПИСАТЕЛЕЙ**

**СЕДЬМОЙ ГОД ИЗДАНИЯ**

**1**

*январь 1937*

**С**